

The background of the entire cover is a complex, organic marbled paper pattern. It features swirling, vein-like structures in various shades of grey, black, and white, creating a textured and somewhat abstract visual field. The marbling is dense and covers the entire surface.

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

ПАМЯТИ ПЕТРОГРАДА

«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСІV



* * *

И. Бродскому

Систора — сжатию полукарасное
голуб и красное красное в красное.

... Слово шкель на шелку,
мнёт, простужая, имперское — к пенскому
около Спаса, то к Преображенскому
так и приписан паку.

Мыл ли предали наши ноги болате,
скленой крашбатке, цулобша ратне,
плазы, где сжигут ветра,
пошву копыта вухах царичю,
мы ли и помним сурчо отлучило
срунку владости Тетра?

Мы ли... во задурр эту присказку помнимо.
Ты ли изгадурреш про страну Фолнимо
серва, где воронии?
Нам умирая на Засимовской линии!
- отрывая французам в инее
неврее зело своё....

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

ПАМЯТИ
ПЕТРОГРАДА

«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»
МСМХСІV

Оформление
Венедикта Фонарева - *младшего*

Марка издательства работы
Сергея Семенова

ЭТЮД

Под вьюжной крупой голубиной
и тонкою тогой — плеча,
покрытые свежей патиной,
родителя и палача.
Мы сироты власти Петровой,
что ласковой кажется нам.
Под стенами крепости новой
навстречу торосам и льдам
он терпит едва на престоле
одряблой кагал татарвы,
всё цепче держа на приколе
летучее устье Невы.

1979

НА КАЗНЬ МАЙОРА ГЛЕБОВА

Гнезда морозных терний.
Хрустко скрипит слюда.
Знать, из других губерний
кто-то спешит сюда.

Рыбу везут в столицу
из соловецких тонь,
дабы согрел царицу
свежий жирок с ладонь.

Светится дверь прихода.
Ликов пожух янтарь.
И над крестом — колода:
«Се Иудейский Царь».



Сельди во льду и птицы
в черных ветвях в ночи.
В связке императрицы
от погребов ключи.

Много она скопила
снеди из разных мест.
Всё государь Петрила
с верфи вернется — съест.

Стекол цветные клетки
влиты в оправ репье.
И отрясает ветки
сальное воронье.



Месяц горит высоко.
Спит на колу солдат.
Пусто и одиноко.
Нечего делать, брат.

В монастыре Авдотья
срачицу с тела рвет
и на свои угодыя
бесам глядеть дает.

Дровни сползают к устью
меж ледниковых гряд.
И тишина над Русью
— это святые спят.



...Наше оконце терний
гнездами заросло.
Павы слетелись в иней.
Феникс когтит стекло.

Ночи, они что птицы
алчные — любят плоть.
Милая, у божницы
пальцы сведи в щепоть.

Перья черны и сизы.
Как задубел — спаси!
— край у небесной ризы
со стороны Руси.

В ПЕТРОГРАДЕ

I

Воспаленные ноздри тучных вельмож,
точно жены настабили им рогов.

И кусает всех просвещенья вошь,
и заест ведь насмерть, без дураков.

У Петра в очах по осе сидит,
и круглит плеча жестяной доспех.

А сынок его за рубеж бежит,
девку кутая в соболиный мех.

Ах, Алеша, — это такая боль!
Возвращайся вспять да на дыбу лезь,

потому что мощи твои — юдоль,
из которой дух был д' вышел весь.

Россияне, точно клещи в хвоцце,
каждый сызмала неумен, щербат.

Помолись за нас в небесах вотще,
Алексей Петрович, собиный брат!

II

Ржав доспех петроградского дуба, но
не уйдет столица болот на дно.

И янтарно склеила пальцы смоль.
О какое чудо! Какая боль!

У осиновых волчьих зеленых глаз
собрались морщины. Усы торчком.

Но Россия — мамка и любит нас,
хоть и учит палкой с кривым сучком.

По-отечески тяжела рука,
император плотничает, щекаст.

Так пойдем, не бойся, хоть хлябь хлюпка,
но упруг и прочен ледовый наст.

Не пищит комар, потому мороз.
Золотится на солнце медовом шпиль.

И струится иней твоих волос,
как замороженный в сопку седой ковыль.

III

То ли жизнь прошла, то ли голос сник,
даже скулы мне тишина свела.

Или Павла вопль, Александра крик
заморожены, вот и все дела.

О Имперский Сад! Мой собиный друг,
не сберег ты свой золотой доспех.

Раздели со мной золотой досуг.
Тоже и помолчать не грех.

...И послушать, как скрипят сапожки
у моей любимой, идущей вдоль
по аллее, подобной игре в снежки...

О какая радость! Какая боль!
— на границе осени и зимы,

на границе всего, что было дотоль,
и того, что будет, ежели мы
возвратимся каждый в свою юдоль.

20.XI.1976

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Е. Шварц

Послушно повемку к Петру
несет под копыта коня.
На парусном влажном ветру
ты, может быть, встретишь меня.

Державе держать недосуг
летучего змея границ.
И остовы новых фелюг
с корсетами императриц

заманчиво схожи. Прилип
к зеленому кубку с орлом
румяный детина. Полип
чухонской зимы за окном

в Европу — оскалился тут,
когда от радений хлыща
старушечьи букли бегут
с подушек, как мыши пища.

...Где возле ростральных стволов
на стрелке пустая скамья
и парусный ветер свинцов
— ты, может быть, встретишь меня.

1979

ПОТЕМКИН, ЗУБОВ И ОРЛОВ

Россия есть Европейская держава.
Из «Наказа»

I

Потемкин, Зубов и Орлов
— екатерининских орлов
блестящая плеяда —
намека ждут и взгляда.

Кому, приосвещая путь,
помогут слуги проскользнуть
в таинственную дверцу
— к жиреющему сердцу?

За шаткой ширмой будет он
шуршать шелками панталон.
И матушка царица
завоев, что волчица.

А где-то комнат через пять
Вольтер задумал почивать,
не помолившись Богу.
Всё гаснет понемногу.

II

С кожаным наглазником пирата
враз любезно и молодежато
князь воскликнул, словно Казанова,
выглянув под утро из алькова:
— Многообещающий какой
разыгрался ветер над рекой,
соблазняет, видимо, смутьяна
крепость, неприступна и румяна.

И непостижимый, всеблагой
ждет уже молитвы Небожитель,
ждет гостинца льстивый просветитель.
Повели, владычица, вставать.

...Но с сиреневатыми опять
амфорами, легшими давно
где-то на таврическое дно,
без громоздких буклей побеленных
стали схожи головы влюбленных.

III

Орлов командирован был
за Таракановой в Неаполь.
Пока под ними понт штормил,
пот по лицу бежал и капал.

И вдруг — переходя на бред,
над грудой скомканного платья
«Коль славен» заиграл брегет
в минуту жуткую зачатья.

Когда огонь сторожевой
проплыл отметиной Кронштадта,
кондовый проводил конвой
мадмуазель до каземата.

Теперь княжна обречена
в империи чухны и чуди.
Вот так в былые времена
шутили пламенные люди!

IV

Гвардейская акула,
кососаженный хват
нахрапом с караула

в опочивальню взят
— на царственную мушку.
Всходя на бастион,
державную старушку
потешь, понежь, Платон.

Пока́ душок шалфея
ты ловишь цепким ртом,
вся матушка Расея
у вас под каблуком:
от здешней топкой шири,
чья беспокойна зыбь,
— до приисков Сибири,
где спелись вебрь и выпь.

Уж лучше наше свинство,
да водка, да балык,
чем кровь и якобинство
парижских прощелыг!
Их любит гильотина,
как вставший зверь со дна,
а нас — Екатерина
Великая одна...

V

Кануло, впрочем, в Лету
много чего с тех пор,
нас посживав со свету.
Но у безлюдных нор
не торопи расправу,
не гоношись в ночи.
«Ты победил, картавый,
ты победил», — шепчи.

Мы нахлебались тины,
стали, как смерть, страшны.
Мамки Екатерины
лишь телеса пышны
— в той из родных кунсткамер,

где за стеклом мороз,
переливаясь, замер
россыпью русских слез.

1968, 1992

БЕЛОЙ НОЧЬЮ

С сей Клеопатрою Невы...
Пушкин

Всё львы, да конюхи, да конные дворы,
укрытые в лазурную личину.
Вот-вот покатаются гранитные шары
и рухнут — в невскую пучину.

С листвы накапало в одну из темных ниш,
где ежится сатир женоподобно...
Но раб надеется, что ты его казнишь,
но перед смертью наградишь
всем тем, чем госпожа способна.

И потому бегу по лестницам в галоп,
беру рукой трамвай за жестяные жабры
и слушаюсь, когда — жидковолосый сноб
заводит в конуру, конечно, полугроб,
чтоб за полночь читать абракадабру.

Но ночь-то белая! Но на Литейном тишь!
Мост на по́па́ стоит, подобно башне Трои.
Но раб надеется, что ты его казнишь
и, пусть на цыпочках, введешь в свои покои.

1974

ПЕРВЫЙ СНЕГ В САДАХ ПОД ПЕТРОГРАДОМ

I

Первый снег в садах под Петроградом.
И от черных листопадных куч,
схваченных посеребренным хладом,
как от жертвенников, дым пахуч.

Классицизма строгие педанты
на холме поставили дворец,
где весь день шныряют адъютанты
и наследник гложет леденец.

В доме много лживых доброхотов
в париках с ухмылками емель.
Но герой суворовских походов
до зари качает колыбель.

Помнит дядька о былой отваге,
как лиманский вытоптал песок,
тушу турка удержал на шпаге
и на попе Альпы пересек.

Возвратясь белоголовым с воли,
голубь сел на золотую жердь.
Не жалеете о земной юдоли
— шепчет внятно ласковая смерть.

II

Белый вензель над круглым окошком —
узел лент, убегающих вниз.
Воробей, поскакав по дорожкам,
полетел подремать на карниз.

И большие лазурные стены
ограждают пространство дворца,
где ночами волнуются члены
и испуганно дышат сердца.

Из китайского шелка обои,
ночники из цветного стекла,
при которых бесшумно в покои
к цесаревичу дама прошла.

В гараже отдыхали кареты,
за окошком мерещится сад,
и искусной работы паркеты,
как наборные крышки, блестят.

Ведь недаром луна понемногу
выступает из туч, хороша.
И слуга растянул себе ногу,
на призыв колокольца спеша.

III

Опостылело мне в парике и камзоле
чуть не в полдень являться на твой туалет,
всё глядеть на лощенные плечи до боли
и сажать в позлащенный резьбой драндулет.

Держит кучер в руках шестипалых поводья,
да не греет беднягу на вате сафьян.
У твоих покровителей тают угодя
и волнуются толпы дремучих крестьян.

У меня же — отцовская верная шпага,
целый ворох рубах домотканых льняных.
Согревается впрок зипуном и малагой
невесомое тело кровей голубых...

Вот и хворосту слишком большая вязанка
для твоих эпистол... Выводите на круг

Буцефала из стойла. Прощай, куртизанка!
Ловко вспороты сети любовных наук.

IV

Лучшим людям не чета,
ведь они теперь в опале,
— златотканая тахта
и колючий лед в бокале.

Крепостной эстет-столяр,
натерев сукном до блеску,
спрятал в кожаный футляр
долото, верней, стамеску.

Есть немало злых примет,
время близится к упадку —
в нашем парке водомет
поливал духами грядку.

В голубых песцах барон
и раздетая маркиза
вдруг покинули балкон
и гуляли вдоль карниза.

Ночью выпал первый снег.
И, взглядевшись в тьму воронью,
плачь, негодный человек,
прикрывая срам ладонью!

V

Сколько вариантов упущено мною!
Что же, гуляй на свободе, дитя.
Я твоих взоров невинных не стою.
Темные листья уснули, летя.

В павловском парке брожу в одиночку.
Павел курносый удушен сынком.
Вижу сквозь голых ветвей оболочку
желтую арку с лавровым венком.

Рядом ощипанный ворон садится —
птицу убогую тоже знобит.
Осень заставила сад оголиться.
Царские кости зима оголит.

Кровь голубая подернется льдиной,
льдиной все чресла наполнит январь.
Распоряжайся моею судьбиной,
новой зимы молодой государь.

1971

ДИАНЫ СЕВЕРА

В Дианах Севера — такая полнота,
что кажется, они объелись пирогами
с янтарной вырезкой из тела осетра,
которые берут душистыми руками.

Диана Севера едва ль о вас всплакнет,
когда весенний дрозд, вернувшись из круиза,
вздремнул на веточке иль ленточку клюет
в мучнистом парике крепостника-маркиза.

Но так ли двойственна улыбка этих губ,
как где-нибудь вдали — в роскошестве Европы,
когда вот-вот упал с покатых плеч тулуп
и залетает снег за мраморные попы...

1974

ВОСЬМИСТИШИЯ

Павлу

Черные ветви. Плащ.
Вьется метель куницей.
Выряжен, как паяц,
русский медведь с косицей.
Тенью пройдя на смотр,
выучку прусских правил,
шепчет Великий Петр:
«Ты рогоносец, Павел!»

Чаща обнажена.
Колются пни и ветки.
Мертвая — не жена.
Лебедь уснул в беседке.
В Гатчине каждый куст
октябрьский ветер окровавил.
Жалобный слышен хруст:
«Ты рогоносец, Павел!»

Людовик и Новиков
мучались от простуды.
Как пропитал альков
запах ночной посуды!
Кажется, палача
тянется в фортку лапа.
В спальне у рогача
скрипнула дверца шкапа.

Ямы алмазит пыль
возле Эскуриала.
Пален и князь Яшвиль
прячут в плащи сусала.
С нетерпеливых рук
лайковую сметану
тянут: веди, гайдук!
Что потрафлять тирану?

«Гатчинский лебедь спит,
как Фридерих пред боем.
Снится, что я убит.
В порфире с красным подбоем
перед Всевышним смог,
пав на одно колено,
крикнуть, что я двурог
и во дворце измена!»

...Помню тот парк и пруд
в семидесятом годе.
Сам я богат, как Брут,
грезами о свободе.
Весь монолит хором,
где поедали брашна,
чтобы душить потом.
И ничего не страшно.

7.XI.1977

НА ОТЪЕЗД ДРУГА

(шесть стихотворений)

С Троицкого моста

Селезень на льдине в блещущей воде
розово-зеленой... пусто, как нигде.

Словно восемнадцатый на пороге век
и не расплодился тут русский человек.

Только справа — крепость с золотым огнем.
Только слева — мертвый на Литейном дом,

да мошка чухонская спит во всех щелях.
Ветер перламутровый в ледяных полях

провожает Дмитрия из родимых мест
от сорокалетних плакальщиц-невест.

27 февраля, 18 час. 15 мин.

Тост в марте

Сгусток перламутровый. Солнца медуница.
Повезло Державину, что была Фелица!

Со шлафроком схожая старческая кожа.
Но какое творчество и какой вельможа!

Нежное атласное, всё тогда шуршало,
всё купалось в золоте или — трепетало.

Фейерверки, праздники, первые статейки...
Дух свободомыслия от прелюбодейки.

Дмитрий! Выпьем горькую за сию персону —
истина улыбчивей, если ближе к трону.

...За белужью позднюю мертвую денницу,
одописца-гения и императрицу!

Вариация

Льет перламутр из лона
туча над морем мглистым.
Как мастерок масона,
отблеск на льду скалистом.

Сосны, луна, поляны
глянцевая рогожа.
Кротко вошла Светлана
в спальню чухонца-дожа

и выгибает тело
в девичьем сарафане.
Если такое дело,
значит, каюк Светлане.

Глухо стреляет пушка.
Полночь грозит удушьем.
Верно, душна подушка.
Смазка потребна ружьям.

Циркули, точно духи,
кружатся у постели.
Пиковые старухи.
Павел с лицом Емели.

Губы твои, Россия,
в зале порфирно-алом
от поцелуев Вия
пахнут хохлацким салом.

Урок истории

Жизнь всегда с подвохом. Надежней сон.
Это ясно видел любой масон,
что печаткой плющил сырой сургуч,
подражая абрису финских туч.

В позлащенный циркуль впелелась лоза.
Черный бархат туго стянул глаза.
Острые рапиры. Мираж святынь.
Жухлой тушью писана та латынь!

Но всё чаще дамы шептали: ах!
— отдаваясь виду парижских плах.
Решено к Сенатской стянуть войска.
А в Сибири — лапу сосет тоска.

Это были люди не нам чета.
Но сплетались в них на манер жгута,
как терновый путь и военный туш,
вера в Бога — с верой в кровавый душ.

В черный день

В черный день золотой огонь
крепостного замка сожжет ладонь,
ту, что ты поспешно прижал к стеклу,
за которым видно его иглу.
Ты теперь навек покидаешь дом.
Ты теперь навек покидаешь дом.
Для чего кривишь не душой, так ртом?
Или шпиль петровский повинен в том?
Скачет медный всадник со всех концов
света — вместо плотских, как мы, гонцов.
У Кюстина цоколь гниет с торцов.
Не забудь, Дмитрий, гробниц отцов.
В стольном граде Питере нам пора
разминуть навеки свою судьбу.
Белой ночью в Питере комара
не прихлопнешь, Дмитрий, на смуглом лбу.

Разведут мосты.
И рассевшись вкруг,
старики на новых чухонских пнях
скоротают менторский свой досуг
перебором баек о прежних днях...

Что доверишь мне из былых страстей
через годы — стигму в скупой горсти?
Без попутных волн и тугих снастей
долетит ли, Дмитрий, тогда «прости»?

Письмо

В этом городе, где у гранитных камней
задубела зернистая кожа
вдоль каналов, змеящихся меж пропилей
и палатцо чухонского дожа,
— я глядел на мерцающий воздух рябой,
овевающий маковки-митры,
и еще не знавал тебя, друг дорогой
и державинский рыцарь Дмитрий.

Да и ты еще горькую не пил тогда
то расхристанно, то виновато.
Только дул на больную ладонь иногда,
наяву ожидая стигмата.
И топорщилось русло торосами льдин
у твоей бесприютной постели,
потому как осталось от прежних годин
столько горечи в жилистом теле!

От натянутых встреч — до сырых сигарет
без витийств петербургского слога
— этот путь мы проделали в несколько лет
и, кажись, припозднились немного.
...Вспомяни же, Дмитрий, когда океан
под тобою разверзнется вчуже,

как затягивал певчие горла аркан
над озерной ахматовской стужей.

ЭЛЕГИЯ

...Где милая рука, от родинок рябая,
берет стакан с винцом,
где пудель давится от ласкового лая
и сигаретный дым кольцом

(Я в этой комнате и не хочу в другую,
в два ночи голубей восток;
я вижу левую, от родинок рябую,
такую ж правую, и хриплый шепоток
со мною делится молчанием и словом
о страшном и простом;
я, верно, не найду ни сна под этим кровом,
ни губ, запекшихся при том)

— до этих мест семьсот
верст, и почти все лесом.
И мне, как школьнику неправильный ответ,
то снится поездов летучее железо,
то всё счастливое, чего в помине нет.

12.VI.1979



Целый день по стеклу барабанили капли,
струились,
потому и взглянуть за окно мы с тобою ленились,
а аукались так — чтобы было нежно и щемяще,
в первом тронутый тленом
российской словесности чаще.

С пожелтевшего фото глядели на нас, как с порога,
в мутном кипене астры над клювом у лебедя Блока,
хладнокравно считавшего сыпкие шпильки у милой,
но разлюбленной и —
сумасшедшего перед могилой.
Только так сн и вырвался было из нашего ада,
прободав оперение пиками Летнего сада,
устремляясь туда, оторвавшись от стана ли, стада,
возвращаться откуда уже и нельзя и не надо.

...Безопасно ли в сумерки нам хорониться друг с другом? —
с маскировкой плотной на лампе, бликующей кругом
от стены к потолку с облупившейся блочной побелкой,
и разбитой спидалы то музыкой,
то перестрелкой,
под которую мы о замышленном шепчем побеге
из разросшейся зоны
на тряской воздушной телеге.

1981



Нет для меня любви и смерти
и встреч неожиданно роковых.

Е. Ш.

I

Всё так странно в том мире, где ты!
Как меж стенами в плесени узко.
Мал разбег у гранитного спуска
для твоей невесомой пяты...
Налетающий ветер винтом
выгибает непрочные спицы —
мы на палубе и под зонтом
проплываем палаццо Фелицы
и посольский салон Фикельмон;
тень хозяйки и ныне, быть может,
когтерукий курчавый грифон
сладострастною шуткой тревожит.

Тише... тише... я тоже влюблен.

Сколь причудливо смешан в тебе
пафос истинной народоволки
с декаденческой тягой к гульбе
и цыганским зрачком из-под челки!
...После ливня немного знобит.
Запах тленца подмешан к обеду.
А сидящий в углу фаворит
молчалив, словно только уеду,
как он прыгнет с своих облаков,
подмахнув проряженною гривой,
прямо в твой паутинный альков
для преступной любви торопливой.

II

Тебе, чья стопа на земле невесома,
шершавую блузу носить

и крепкую корку латинского тома
золой сигаретки кропить.

А дом запустить наподобие хлева,
кибиткой на полупути.

Чего ж... так надежней... глотни для сугрева
да чашечкой кофе крути.

И раб, поспевающий с новым романсом,
и в трансе литейная голь,
чей ветхий манжет отдает декадансом
и в брючинах пóрхает моль,
— все знают, сколь властно на полном развале
ты царствуешь тут. И свеча
в твоём канделябре сравнима едва ли
не с блестящим зверьком у плеча.

.

А где-то я — стриженный как уголовник,
платком замотаю ладонь
и брошу еще не отцветший шиповник
в меж скал разведенный огонь.

1981

НА МОРЕ СРЕДЬ СОЛНЕЧНЫХ ДЮН

На море среди солнечных дюн
песок колосится, желтея.
И крашенный в охру гальюн
скрипит, как сосновая рея.

Комарик, что первый Икар,
на волны планирует в зное.
Здесь будет хороший загар.
Всё белое и голубое.

Здесь будет на смуглой руке
соленой волны отложение.
И наша душа вдалеке
увидит свое отраженье

— где собраны в точке одной
слепящие искры залива,
как будто трезубец стальной
Нептун приподнял торопливо.

1975

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

I

Если ты меня первой окликнешь сама
С Элизийского, может так статья, холма,
я к тебе поспешу из бедлама.
В мире не водерковлена, не крещена —
я взгляну тебе прямо в зрачки — прощена?
Прощена, но, как прежде, упряма.

«Да и в чем было каяться мне, подскажи.
Разве в том, что твоей прикоснулась души
и царапнула, точно известку.
Воробьиною ночью пришла на балкон,
потому что подумала — если влюблен,
ну возьмишь, разомнешь папироску»...

Мглисто-розовых вспышек расщепленный свет.
Словно нашим сердцам уже тысяча лет,
только всё еще внове:
и волнистой сирени под окнами топь,
и окатных жемчужин тревожная дробь,
вдруг рассыпанных в слове.

II

Я за эти-то годы привык бичевать,
по ничейным углам, где хочу, ночевать,
переслаивать явью мороку,
утекать из столицы на явочный свист
присносушного ветра, где берег скалист
западает в осоку.

Но когда я к тебе возвращался опять
и монетку попрытче спешил отыскать
на ступени вокзала,

всё глядел на опухлость на милом лице,
на привет, искаженный в табачном кольце,
нам чего-то мешало.

...Каждый жест столь таинственно преображен,
словно я в леденящую глубину погружен
наподобье моллюска,
где среди под волной обитающих жен
шевелит студенистую мантию в тон
полудева-медузка.

III

Ракушками пугливыми
в слизи подводных грив
дикий гранит с разрывами
густо покрыт в отлив.

Ежели распогодится,
Бог поглядит на нас:
в стиле модерн народницу
с влагой цыганских глаз

и на меня, готового
ладить строку к струне,
нищего, бестолкового,
с телом в сухом огне.

Ты — в петроградском таборе
гонишь сирень с крыльца.
Я в это лето — на море
колко зарос с лица.

Пью, запрокинув голову,
под гоготок бичей,
узя глаза на олово,
темное меж лучей.

Всё это — только длинная,
миг — и исчезла прочь,
первая воробьиная
наша с тобою ночь.

1981

ОХОТА

Отцветающий крин
заболоченных сопок озерных.
Там один на один
сторонился я заводей торных,
загребая веслом
на стеблях дрейфовавшие листья,
то-то задним числом
затянули б, цепляясь, — вернись я.

Еле вспыхнув, погас
луч, нашаривший валковую лодку.
Столько смолоду раз
обжигало луженую глотку,
так обложен язык
был с утра — что еще и доньне
замурованный крик
в прибережной троится руине.

...Снится сквозь зеленцу
акварели землистой,
словно шелест слепцу,
парусинящий дождь шелковистый,
под которым серо
стлались россыпями незабудки
и пласталось крыло
коченеющей утки.

1989

СПРОСИ, ПРИТВОРИВШИСЬ НЕМОЮ

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия.
П.

I

Спроси, притворившись немою,
у ветра, чья песня вольна,
почто в неприступную хвою
березы лоза вживлена,
горящая тихо, продольно;
а вдруг в приозерном логу
ей — больно
и холодно на берегу.

...Чего ж заждалась, не спросила?
Быть может, сквозь влажную пыль
— то золотиносная жила
мурановских приисков иль
нездешней красой леденящих,
чья недорастрочена мощь,
а значит, тем паче пропащих
распадкоу михайловских роцц.

II

Над садом, подлеском с рябиной
в скукоженных комьях кистей
усадебный ворон былинный
судьбинно скликает гостей.
Не там ли созрело, а после
упало державное вмиг
зеленое яблоко — возле
обтянутых кожей книг?

...Приблизив к раскрытым — слезами
наполненные глаза,
счастливы, смотрели б часами,
что грешники, на образа,

как, строя читателю куры,
бахвалится древком с косою
костлявая — в нетях фактуры
старинных страниц с рыхлотцой.

Ш

В бревенчатой горнице пакля
неправдоподобно свежа
и — лезвием пахнет
с наборною ручкой ножа.
О, всё отражающий, кроме
реальности, тусклый овал
настенного зеркала — в доме,
где кто-то до нас побывал,

в еще не разохшейся раме,
подобной тугим обручам,
мы верим твоей амальгаме
и честным беззвучным речам.
Шагнешь — и сторицей
ответят с другого конца
разбуженные половицы,
и дверь, и ступенька крыльца...

Сентябрь 1989



Глазницы Козлова-слепа
под рябью, как два озера,
когда непогодит в июне.
И Батюшков весел с лица,
держаться решил до конца,
но мреет от ужаса втуне

в своей вологодской норе,
когда за окном в серебре
в еще не просохшей лагуне

сквозь чащу прибрежных раки
гороховый шут соловейка
кукушке лесной говорит
(рука, окропившись, горит),
что жизнь человека — копейка.

Рассохшийся русский амбир:
чернильница, книги, кумир
с мыском выпирающим срама.

Как важно на горе врагу
успеть умереть на бегу
среди бородинского хлама!

1978

В РАССЕЯННЫХ ПОИСКАХ РАЯ

За взмывшею с дерева стаей
мы вышли с чужого следа —
к нарышкинской церкви, не зная,
что там отпевали тогда.
Таинственное свечение
вместительных темных лампад

сродни огонькам, по теченью
сносимым в соседний посад,
по тяблам алтарным кочуя,
тускнело вдали,
как будто мы в реку ночную
по самое горло вошли.

Сородичи тоже покорно
неплотно стояли кольцом
над новопреставленным в черном
с покорным бесполым лицом.
Катилась капель, обжигая,
на пальцы со свеч.

В рассеянных поисках рая,
гнезда родового сиречь,
когда мы на кладбище старом
гуськом миновали кресты,
имен не читая, недаром
невольно поежилась ты.

1990

СТИХИ О РУССКИХ ПОЭТАХ

Шум на шум, как брат на брата,
Восстает издалека.

О. М.

1

Державин у Дельвига: «Где тут нужник?»
Но Дельвиг Державину не проводник.
И старец сиятельный в зале
арапскому отроку крикнул: виват!
А Пушкин бежал, словно был виноват,
и вскоре подвергся опале.

Надолго открытым остался вопрос,
который сквозь годы недаром оброс
величием русского чуда:
когда, отрешившись от тайн ремесла,
Некрасову утку подруга внесла
— как адрес студенчества из ниоткуда.

2

Светило за холмы садится,
и сумерки пришли домой,
где в тесном кабинете длится
у Баратынского запой.
Ждал вдохновенья, как подарка,
и, открывая поставец,
он знает, что в судьбе помарка,
и выступает как истец.

...Сороковые-золотые:
жандарма купол голубой,
и западники молодые
ведут беседы меж собой.
А здесь — где страх пытается душу
и у камина зябнет Лель,

Настасья, приготовьте мужу
на узком канapé постель.

Чтоб не в Италии счастливой
он умирал, обманно-бодр,
а дома — с нежностью пугливой
спартанский омывая одр,
звезда над ярославским трактом
взошла судьбе наперерез,
покуда длинноклювый дактиль
её не ухватил с небес.

3

Старый мальчик Лермонтов оглушён кокоткою:
он пирог с опилками как с капустой съел.

На Кавказе лечат минеральной водкою,
и на лицах страждущих солнцепека мел.

Знамо, в высшем обществе новое волнение:
тлеет в мшистых зарослях Грушницкого скелет.
Посему готовится светопреставление,
панихида с музыкой и кордебалет.
В чаше остролистной с красными гирляндами
прямо у источника жарят шашлыки.
Генерал, набычившись, спорит с адъютантами,
кто начнет мазурку и с какой ноги.

Тише. Тише. Тише.

Маленькая Мери
уезжает с мамой, обманута вдвойне.
Пусть другие дамы на её примере...
И никто не скачет на взмыленном коне.

4

...Над наважденцем Бенедиктовым
всю ночь проплакал Аполлон.

В морозном сумраке реликтовом,
где в рамы врезан небосклон,
к окну слетелись снега голуби,
свалился с ветки воробей,
фрегат дрейфует в невской проруби,
и дует с Выборга борей.

В России сердце рано старится,
но мало кто так хочет жить.
Затем и Бенедиктов нравится,
что всем приходится служить.

Надвинь, чудак, на брови кепочку,
накинь засаленный бекеш,
а показалось небо в клеточку,
— снежку холодного поешь.

Живем, а будто в землю жалкую
легли и тлеючи лежим,
припоминая дружбу с чаркою,
перчатку, розу, шейку жаркую
и николаевский режим.

5

Нахлобучив на темя островерхую шляпу
и в костюме охотника цвета спаржи,
собирались на тягу.

А внизу по этапу
бурлаки на веревке тянут тушу баржи.
Это стон или песня?

С крутого обрыва,
обдираясь о камни, как не броситься вниз?
Приземлился удачно. Вскочил торопливо
и, раздвинув кустарник, задрожал как Улисс.

Бурлаки отдыхали.

Вскипала ушица.

Шоколадные спины... Холстяные порты...

Он глядел сладострастно

в задубелые лица,

в обожженные мутной ущицею рты.

...Стали годы подобны игральной монете,
на чужие купоны похожи века,
но не раз раздавались в его кабинете
то бессильные стоны,

то удар кулака.

Вот в такие минуты

господа нигилисты

приходились, должно быть, ему по нутру
(петербургские ночи чересчур серебристы)
— и, стуча сапогами,

звали Русь к топору.

...Сколько б каждый сезон ни стреляли бекасов,
ни дарили нарядов Панаевой г-же,
завсегда оставались

товарищ Некрасов

верным Музе печали и гнева в душе.

6

Фет с Тургеневым на бричке
проезжают по лесам,
где глухарь несет яички,
в чаще рыжие лисички,
серый заяц сам с усам.

Попадается коряга,
матерится мужичок.
Говорят, что будет тяга.
Вынь-ка, братец, сундучок.

Разноцветные наливки
да налимий язычок,

и на них косящей сивки
кровью налитый зрачок.

Ишь, раскаркалась, кликуша,
не дает покушать — кыш!
Заряжай ружье, Ванюша,
доставай, Афоня, пыж!

Небеса подобны слитку.
Расписались Надсон, Мей...
И на черный гриб улитку
ветром сбросило с ветвей.

7

Соком клюквенным из каверн
запятнало лепной модерн.
Вот тогда и пришел гуртом
рыжий Фофанов в желтый дом.

На Арбате витраж потух.
В бабьем свитере Пленный Дух.
Корка хлеба да миски бряк.
На погосте сытней — чем так!

И когда Азраил-комендант
императора и инфант
души вывел в иной предел,
нам оставив угли да мел,

мы не плакали — нету глаз.
Вместо рта — потаенный лаз.
Вместо лиры — горбатый сук.
Четвереньки — заместо рук.

Полночь кажется нерезкой,
и кренился потолок.
Потому за занавеской
притаился пьяный Блок.

Наши окна без замазки,
так гуляет ветерок.
Из-под черной полумаски
ухмыльнулся пьяный Блок.

Знать, разбойников не сорок,
а двенадцать — видит Бог!
И Али-баба не морок,
а всего лишь пьяный Блок.

Но когда в горбыль горбушки
волком впился русский рок,
нас и вас спасает Пушкин.

Ваша правда, мертвый Блок.

1977



Игумену Андронику

Крупичи пигмента с сусальным вкраплением с фрески
над Ладогой перятыся, сыплются за перелески
и кажутся сами то сумарками — то припёком,
где древние ели поют о своем, одиноком...
В чащобном валежнике щедро рассыпаны втуне
подснежники в мае, купава и ландыш в июне.

Ни Божьей руины, ни запахов падали трупных
— никто не кощунствует в этих местах неприступных.

В летучих крупичах живет чудотворная сила
Марии и Анны, Иосифа и Гавриила.
Недаром тряпицей чело повязал богомаз
и нежные кисти из жесткой щетины припас.
Полотнища камня, приделов упругие дуги
как будто не видели, что происходит в округе
— что в новой Гоморре в расчете на скорый барыш
в киот кипарисовый алчно подброшена мышь.

1981



В кренящейся башне ночные раденья,
кадрож Коломбины с порога
— для нас возжеленнее лжеврохновенья
голодного позднего Блока.

Да только одним они мазаны миром,
одна в них мерцает монада.
С полуночным бледно-зеленым эфиром
они породнились. Не надо,

не надо ни пышной Италии в храме,
ни голого мрамора в чаще,
ни неба такого, как в «Пиковой даме»,
— всё это мертво и щемяще.

(Мы долго гуляли с тобою у стрелки,
и оба не шли на уступки.
И пялились жадно советские клерки
на рубчик вельветовой юбки.)

...И спорили с Лазарем пятнами тлена
кумиры в садах и на крыше.
И алчно взмывала балтийская пена
все выше,

и выше,

и выше.

1979

ВОСЬМИСТИШИЯ В СТИЛЕ RETRO

Не мирового ль там хаоса
Забормотало колесо?

А. Б.

Зеленое стекло с коричневым родные,
то ярко светятся, то дотемна густые.
В обнимку с гейшами пронесся нувориш,
предпочитающий шампанскому гашиш.
И шубке искристой фигура кавалера
чего грассирует, расслышать не берусь:
— Недальновидная поклонница-химера,
кончай жеманничать! Наутро рухнет Русь.



Худышку Рубинштейн с дарами рудников,
чей жалобный крестец так вывернул Серов,
что бедному купцу не видно даже сисек,
и то, что большевик на этом пламя высек
и, конспирируясь, поехал на вокзал
перекантовывать купоны за границу,
— румяный фараон в одно не увязал,
куруя перрон, похожий на теплицу.



Дионисийствует в салоне символист.
Под маской снежною — сермяжная Расея.
На потных жеребцах морозец серебрист.
И жирные самцы висят у Елисея.
...Душистая волна оранжевых волос
так туго стянута подругою на совесть,
что удлиняет ей по-гоголевски нос.
И тянет перечесть таинственную повесть.



Знакомка давняя! Рубцы твоих каверн
едва ли зажили. Зачем тебе Петрополь,
где выгибается русалочий модерн,
сжимающий в стеблях фрегат или акрополь.
Туда, где вперехлест ямбической стопы
о блюдечко звенит, плескаясь, чашка чаю,
от красноренточной спрессованной толпы
я только побежал... И вдруг тебя встречаю.

23.XII.1978

ЭТЮД № 2

...Вернемся на Стрелку — ко львам,
на темный от листьев Елагин,
когда колыхаются там
лоскутные пестрые флаги
на мачтах спортивных галер
в ракитовых бухтах в июле,
дразня сквознячком на манер
чекистской куражистой пули.
И метит — сквозь смерть — наугад
кузминская тень в гомосеки,
когда изумрудный закат
сурьмит по-египетски веки.

1979

ТАМ ЗА ОСТРОВАМИ

1

...Там за островами сердце дышит
с каждым днем слышней.
Изумрудную листву колышет
ветер там сильней.
Загорается над Черной речкой
красная пасхальная свеча.
Но табачное колечко
развихряется у твоего плеча.

На столе летучие бумаги
и заветная латынь
от стакана драгоценной влаги
погрузились в синь.

Не проникнуть солнцу и ненастью
в полутьму, где ты вольна.
Только вена на твоём запястье
выдает, как ты сильна
той — еще елабужской силой,
что ведет петлю.
Как лампаду над пустой могилой,
я тебя люблю.

...Чем неугасимей бессердечье,
тем необратимей миг,
на который к твоему предплечью
я неизлечимо приник.

2

Черносливовые волны
переполненной Невы,

отчего вы так покорны,
и чему покорны вы?

Раз в закатный час Пальмиры,
в час Пальмиры роковой
в полутьме пустой квартиры
Кузмину явился *boу*.

На диванную обойку
с пришлеца стекает слизь.
Во фланелевую тройку
раки черные впились.

Териокской чайки крики
по площадкам
разнеслись.

Черносливовая пена
взбудораженной волны.
Из-за двери запах тлена,
грима, юности, весны.

И каток
на майской льдине
у форелевой сосны.

3

Возле виллы Рóде, не то Родé,
аварийной виллы, где всё можно,
где сам Гришка бил у гетер биде
— мы гуляли неосторожно.

Там, казалось, призраки зажились,
даже не замечая это.
ты была в панаме и юбке из
бархатисто-складчатого вельвета.

Разгоралась зелень, глаза рябя.

Голоса терялись в грачином гаме.
Так боялся я, что, обняв тебя,
превращу тебя в драгоценный камень,

в чьей прозрачной тверди ища исход,
будет биться сердце твое, родная,
как сама форель в териокский лед,
изумрудный лед середины мая.

Сigaretной гильзки у губ огонь,
под глазами тень соловьиных крылок.
Положи, как ночью, свою ладонь,
шевелия перстами, на мой затылок.

Знать, нашелся лишний глоток на дне,
раз напомнил тающий смех о стае
птах, вернувшихся по весне.

Только чтобы впредь не казалось мне,
что едва нашел — как уже теряю.

Май 1979

ПОЭТ

Ан. Найману

Говорит об испуге своем
перед силою постной молитвы.
Прячет в шторах окна оком
и острит наподобие бритвы.

И хотя уж давно позабыт
гром пальбы над холодной волною
и дает ему друг-московит
хлебосольно трунить над собою,

он — подобно Петру за станком,
обращая на праздных угрозу,
вырезает цветок за цветком
золоченую едкую прозу.

Словно солнце не застит зенит,
не лежат штабеля у обочин,
словно впрямь еще дело решит
эта гвардия слез и пощечин.

То искусно молчит о былом,
то презрительно тянется к нови...
И высок иудейский излом
темной тенью подправленной брови.

1976



Отцу Ярославу

Необроненное золото
за мороженых берез
ярче — под небом распоротым,
словно алмазом, в мороз
рыхлой межой истребителя,
схожую с санным путем
к дальней обители
северным меркнувшим днем.

На зиму кроны не сброшены,
не осыпаясь, оне
все целиком заморожены
в гибнущей с нами стране.
И за слободкой заречною
ветер, входящий в посад,
в дни скоротечные
по-херувимски пернат.

...Даль в половине четвертого,
словно ложится с плеча
епитрахили потеряя,
ставшая серой парча.
Пристанционный за старую
узкоколейкою дом.
Бог с Авраамом и Сарою
долго беседовал в нем.

Там на далекой окраине
скоро приспееет пора
с ложечки грешных отпаивать
жертвенной кровью с утра.
Вся наша истинно царская
жизнь по углам да одрам,
а не латынь семинарская,
сосредоточилась там.

Декабрь 1992

ПОСВЯЩАЕТСЯ РОДИНЕ

1

У заветных божниц
дует ветер с границ
и морских, и степных, и таежных.
Разом холоден он
и горяч испокон,
родич свеч миротворно тревожных.

Византийский орел
домовину обрел
в средостенье чухонской столицы.
От морозных борозд
да петропольских звезд
зелено оперенье царицы.

Чем беззвучнее наш
полуплач-полумарш,
заглушенный гудками с вокзала
и *последним прости*,
тем обильней цвести
на погостах черемуха стала.

У покоев уют
капитанских кают
отнимает хлыстовская дуля.
И симбирский шакал.
И уральский подвал.
И свинцовая легкая пуля.

2

Сердце — щелк да щелк.
Борода у щек
на морозе сохнет.

Матросни штычок
прободад бочок.
Гражданин не охнет.

Посвежее вестъ;
на Шпалерной есть
не бордель — застенок.
Если с пьяных глаз
разменяют нас,
значит за бесценнок.

Потускнела пыль
вдруг галактик иль
не по силам ноша?
Провожая в путь,
согревает грудь,
словно стяг, пороша.

И припомнив вдруг,
как кормил из рук
соловецких чаек,
разожмешь ладонь...
Над отчизной вонь
боен чрезвычайек.

Пятерней чекист
припечатал лист:
смерть надежней срока.
СМЕРТЬ СМЕТЛИВЕЙ НАС
и светлее глаз
Александра Блока.

1979, 1991

ГОЛОС ИЗ ХОРА

Спросится с нас сторицей:
смерть, где твое жало?
Небо над всей столицей,
как молоко, сбежало.

Лишь золотые тени
осени — Божья скрепа
в гаснущей ойкумене
гибнущего совдепа.

По облетевшей куще,
хлопьям её кулисы
не обойти бегущей
по тротуару крысы.

Теплятся наши страхи
знобкие в гетто блочных.
Тоже и страсти-птахи
требуют жертв оброчных.

Все мы — тельцы и девы,
овны и скорпионы,
пившие для сугреву
по подворотням зоны,

перед вторым потопом
ныне жезлом железным,
чую, гонимы скопом
в новый эон над бездной.

В черные дни, на ощупь
узнанные отныне,
жертвеннее и проще
милостыня — Святыне.

16.X.1991



Настигает в единственный
день какой ни на есть
из России таинственной
долгожданная весть.

Это перистый йодистый
блеск ночной на торцах,
драгоценный породистый
снег наследный в садах,
перекрестные радуги
в полукружьях окон,
валаамского с Ладуги
благовестия звон,
исполинские ветоши
и марлевки хвои,
слышно, шепчут об этом же,
что и губы мои,

и под коркой течение,
размывая мазут
— притекать в ополчение
на венец, на мучение
добровольцев зовут.

1981

ПЕРЕД СМОЛЬНЫМ

(литературная композиция)

Лазурный Растрелли задумал собор
превыше, чем туча и птица.
Огромные суммы ему не в укор,
столь ласково императрица
взирает на бархат его панталон,
в паху округлившийся в складку,
как в самую белую ночь небосклон
над берегом, давшим усадку.
С чертежной линейкой дородный посол
шуршащего лаврами зноя
вдыхает балтийской селедки засол,
над хлябями дерзостно стоя.



Святое писание знать назубок,
вставать по звонку спозаранок...
Какие секреты хранит между строк
синодик левицких смолянок!
Бывало, сюда приходил Государь,
задумав придворную смену.
Отсюда — что жемчуг, запрятанный в ларь,
сам Тютчев похитил Елену.
Вослед им крылатые щерились львы,
чадили ростральные плошки...
Но в нашей чухонской Пальмире, увы,
века похотливы как кошки.



Откуда-то женский взялся батальон,
жужжат пулеметные осы.
С игривым смиреньем присевши на трон,
сивушно гогочут матросы.
Охотясь, двуглавого ловят орла,

из залы летящего в залу
с огнем, вырывающимся из горла
подобно змеиному жалу.
Инфант решено под машинку остричь
и выдать колючие блузки.
Как живо картавит Владимир Ильич
и тоже может по-французски!



Обкорнаны кроны окрестных деревьев
и пышно шуршат лимузины.
Со снежно-кипучей Невы нараспев
задуло в чиновные спины.
И что-то свистит над моей головой,
как после хорошей гулянки.
Мы жертвою пали в борьбе роковой
во славу усов и оспянки.
Недаром ежовцы гребут что ни день
и крупных, и тех, кто помельче.
А Кирова ширококостная тень
лежит в окровавленном френче.



Февральских небес акварельный свинец.
И ежели броситься с моста
на льдину — как враз и должник и истец —
она оседлается просто.
Сжимай цепенеющей властно рукой
её шелестящую холку,
пришпоривай черной разбухшей ногой
подводную крепкую корку
и, если получится, высадись там,
куда не попасть из ОВИР'а,
и вышли на глянцевах карточках нам
ландшафты загробного мира.



Никак не забуду, денек хоть куда:
распаренный зноем свекольным,
под кайфом я двигался не без труда
и вижу — пустырь перед Смольным.
Тогда я почувствовал жжение в паху
и смело шагнул за кустарник.
Закаркали черные хлопья вверху,
как будто приехал пожарник.
Далекое лето... свобода... лафа...
сознания разъятые звенья...
И нежно ложились на сердце слова
грядущего стихотворенья.

1981

СТАНСЫ

В деревьях лапчато

В деревьях лапчато запутались грачи.
Ручьи перекрутились с речью.
И склоны темные, что куличи,
плывут торжественно навстречу.
Сжигает солнышко меня-ленивца и
страну тряпично-красной плоти,
где все под мухою. И только муравьи
честны в египетской работе.

За свистским поездом

За свистским поездом летит зеленый шлейф
к гранитным пирсам Петрограда,
где император ловит кейф,
давя чешуйчатого гада
своим копытом. И Нептун
в еще последней снежной пене
глядит не на оснастку шхун
— а вслед петропольской Елене.

И веет Балтикой

Крупнца Божия боится грубых рук,
она нежна, хоть голос низок.
И веет Балтикой, когда беру
конверты от её волнующих записок.
Комочек бытия, завернутый в наждак
пространства, названного Русью,
ему противится. А мы не можем так.
Нас тащит к собственному устью.

И всё мерещится

И всё мерещится то яма, то барак
с плюгавым уркой одесную.
И каждый раз трудней бывает сделать шаг
в словесность чистую простую...
Не башню стройную за клетью клеть
я смело возвожу к руинам —
всё громче хочется анафему пропеть
и показать кулак рубинам.

Когда б не ведали

...Когда б не ведали, что впереди
у старого грача и драгоценной птахи,
я б ожил у твоей боязненной груди,
где гений, и мечты, и страхи.
И выдубив сердца у финских берегов,
мы ехали б в Москву на царство,
где мстя любовникам за сорок сороков,
всё диссидентское боярство

В направленья Польши

там прахом наших тел салютовало бы,
примерно, в направленья Польши,
чтобы преемники просили у судьбы
чего попроще и подольше.
Но не своим горбом, а из твоих стихов
о темных метинах на чутком теле
известно мне — подобии следов
по бесам пущенной шрапнели.

Еще и осенью

Весной пахучею, как ладан и ваниль,
зимой, сжимающей запястье,
в страду июльскую, глотая соль и пыль,

или в прозрачное ненастье
— еще и осенью я буду вспоминать,
жалея клен и облепиху,
вдыхавшую хмелек в латинскую тетрадь,
ту — с низким голосом — подругу соловьику.

3.IV.1979

ГОЛУБЬ

Когда в густолиственный паюсный мрак
пикирует голубь — его ли
запустит ли кто-нибудь понову в знак
подверстанной к сердцу неволи?

Всё ль белую ночью на рыбьем клею
— на вдруг зачадившие свечи
в зазывно открытую фортку твою,
как к Гойе, слетается нечисть,

которую ты отгоняешь локтем,
спасая строку-паутинку,
точильную искру с трамвайным путем
сводя — и с кровинкой кровинку?

Мы те же бумажные птицы, и нас
Господень приглаживал ноготь.
И нам хохолком доводилось подчас
предгрозию душное трогать.

Последний пропащий почтарь-голубок,
упавший в сирень перед домом,
как я — пересечь не сумевший порог,
усни, оглушаемый громом!

Июнь 1985

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Всякий день, как гляжу в окно,
вижу, что день тот — черный.
...То рассыпавшийся на рядно,
то сфокусированный в одно
пламени диск упорный,
необратимо вобравший нас
в тягу своей орбиты,
долго катился, пока погас,
— к клюквенным сопкам в еловый лаз
северной Фиваиды.

Ирод из отчей меня земли
вытащил, что из люльки,
дабы один на один вдали,
как воробей в водяной пыли,
ждал оловянной пульки,

и в чужеродном раю мирском
на полотне ночуя,
переносился одним броском
— и припадал восковым виском
вдруг к твоему плечу я
там, где идти — все равно, что жить
долгую жизнь вторую,
ибо — сдувая паучью нить,
надо на каждом шагу творить
понову отходную.

Июнь 1985

SARABANDE

I

Георга Генделя музыка роковая,
как наступательная поступь звуковая,
как смерть под барабан.

И солнце снулое, и ветер взывший
сдувает с зеркала снежок, запорошивший
поверхность стран.

Необратимая, позолотила
руно ты париков
на гладких черепах, скользящих, как перила,
тобой толкаемых — а впереди могила —
танцоров-стариков.

То рассыпается, то стаею кружится
над чащей воронье.

Пред тем как лечь костями, должны вооружиться
музыкой дробною мы, воодушевиться
накатами её.

Шеренгой юноши, на выданье девицы,
чьи грудки жалкие атласный вспенил лиф,
с полярным космосом сравнимые куницы,
фламинго сонные, подвижницы-синицы
и попугай-халиф

— из упомянутых кому не страшно
тут на земле
пред рукопашной
с музыкой важной
в предвьюжной мгле?

Давно закопанным — и то там слышно
то топ ударных, то — завывы духовых.
Припомнить выпало, а позабыть не вышло
жемчуг и вишню
румян твоих.

II

Волной воздушною, атакой лобовую
и барабанною музыкой боевою
из гнезд взметнуло нас
скользить по воздуху... И после снегопада
искусный механизм архангельского сада
функционирует невидимо для глаз.
...Такая тишина, что белка на тропинке,
пушистый хвост прижав к такой же пышной спинке,
с гримаской заждалась.
Иерихонские еще не взвыли трубы,
еще не сплюснуты их мундштуками губы,
улитки медные, они в чехлах сейчас.

На крупных лацканах и клапане кармана
эдемской флорой расшитого кафтана
акант парчовый стар.
Мне кажется — я не вчера родился,
к тебе приблизился — и перевоплотился
в морозный пар.

Угль в крепостном аду — скрипичной канифоли
янтарные куски.
Служенье сладостно, а не избыток воли.
Свободолюбцы-то и запороли
и сжали кулаки...
Кто слышит музыку не там, где врут крамольно
истцы в поту,
с того довольно
в минуту ту.

III

Еще в Останкино не зажигали свечи,
но окна-зеркала блестели, ибо вечер
от середины дня.
Расчехлена труба гобоя голубая,
и барабанная музыка гробовая
приветствует меня.

Приковылял медведь на снежную поляну,
не он ли на ухо и наступил тем спяну,
кто иерархию раскатывает вширь?
Окститесь, гаврики! Не рубит же румяный
свой сук снегирь.

Найдется ль дирижер, который вас остудит?
По снегу в туфельках попрыгает — и будет
в батистовый платок высмаркивать катар.
...Мне кажется — ты не вчера родилась,
ко мне приблизилась — и перевоплотилась
в морозный пар.

Пока не поздно,
наsupлюсь грозно,
но как смятенному не уступить смычку,
когда морозно,
аккомпанировать товарищу сверчку?

Музыки рыцари — мы те же полиглоты,
что и покойники... И нет иной заботы
у нас давно,
как видеть небеса в плафонной дымке сладкой.
А под лопаткой
дощато дно.

В пенатах прибранных хозяйничают лары.
Как трудно и в версте от дома после кары
узнать своих.

И треуголками, надвинутыми на лоб,
мы защищаемся от вьюги свистских жалоб,
ударных грохота и взыва духовых.

31.XII.1986



Греясь в бесснежное олово,
лезут друг другу на голову
чайки в прожорливом раже.

Как на звезду Вифлеемскую
— катит в империю венскую
райский гонец в экипаже.

Снова сойдясь врукопашную
с клавиатурою страшною
каждой костяшкой с костяшкой,

кто там ему позавидовал,
ибо бессмертной не видывал
сроду души под рубашкой?

Или сама благоверная
хлорная известь холерная
не помогает и за

грош уступает богатому
негоцианту рогатому
в черном плаще по глаза?

.....

На родовые с секретами
склепы, кофейни с газетами
и на Дунай, голубой

разве твоими молитвами
— из преисподней с пюпитрами
льется игра вразнойбой.

Январь 1986

СУДЬБА СТИХА — МИРОДЕРЖАВНАЯ

Судьба стиха — миродержавная,
хотя его столбец и краток,
коль в тайное — помимо явного
заложен призрачный остаток.

Нерукотворное содеется
и до конца не дастся в руки,
спасется — не уразумеется
ни встреченное, ни в разлуке.

Казалось бы, давно за скобками
судьбы — отечество и вера
в орла с змеиными головками,
как всякая земная мера,

ан, с вьюгою разногосою
скольженье по тропе неровной,
что танец с голубоволосою
Елизаветою Петровной.

...Когда и тайное и явное
в силке забьются шелкокрыло,
на воле уцелеет — главное,
чья неопределимость — сила.

Участники того тревожного
дворцового переворота
— мы, алчущие невозможного
ползка, броска и перелета.

31.XII.1987



Наконец-то светла
ночь от снега — как было когда-то!
В стольном граде Петра,
где и страшно и свято,
помнишь, у фонарей
от метро мне рукой помахала?

Полыхал эмпирей
в коммуналке того ареала,
где ужо собрались
на паях почитать декаденты
ну и — поднабрались,
а менты ворвались
проверять документы.

Проскользнув в коридор,
мы бежали чухонской столицей.
Как всегда командор
галопировал вслед меднолицый.
Там в каморке с лепным
потолком и оплывшим огарком
одуряющий дым
табака и — последним подарком
— сладкий шепот «забудь»,
долгий трёп на задворках Европы,
с темной крапиной грудь
и семитская грусть антилопы.
Душу мог обрести
потерявший её с полуслова
— столько в тонкой кости
твоей холода было и зова.

Знать, надир и зенит
на оси поменялись местами.
Лезет лед на гранит
под разъятыми на ночь мостами.
И блуждает спираль

вьюги; если пустыня — Расея,
дорогая, едва ль
дозовемся теперь Моисея,
мимо сфинксов не раз
по косе меж двумя берегами
выводившего нас
— на продутую Стрелку ветрами.

28.11.1988

ПОВТОРЕНИЕ

Ты не расслышала, а я не повторил.
Г. И.

I

Вспомнив искру трамвая
под ветвью с имперским обличем,
вдруг тебя обретаю
в твоём обиталище птичьём
у серебряной рюмки,
чьё донце подобно светилу.
Почтальону из сумки
эти строки достать не под силу.
Эй! Прощальная мета
на руке, словно стигма, упорна.
С того самого света
мне её насылать не зазорно.

II

Эти тикалки — ах, неподкупны,
их искусный левша собирал,
шестеренок песок целокупный
на ладонь экономно сыпал.
А уж маятник — новое чудо,
на которое жмурилась ты,
придержать бы, казалось, не худо
малахитовой подле плиты,
столь легко его ход усыпляет
по сравнению с тем — что теперь,
увелича замах, ударяет
в нашу хлипко закрытую дверь.

III

Метель шелестела б в трубе,
как будто лавровым венком,

а Новиков пусть бы себе
тачал за печатным станком.
И падали б мерно пущай
листочки, ложась в полукруг,
с таинственным знаком «прощай»,
еще не разгаданным вдруг.
Зачем тишина с багрецом
в морозном оконном яйце
наводит — рубец за рубцом
на русском мучнистом лице?

IV

Снег то пушист, то игольчато кромчат,
— как не берег я наших алмазов?
Выпил и лепит какую захочет
снежную бабу себе Карамазов.
В каждом подвале — бельмо на окошке,
в проходниках — вавилоны поленниц,
впрок поперек возведенных дорожки,
коей спешат легионы изменниц.
Вот и тебе нафталиновый тулупчик
надобен, скроенный честно, продольно.
Да ведь и я не раскормленный купчик:
знаешь, как сердцу далекому больно?

V

С плацов и подступов выдуло за ночь,
точно с жаровен, листву.
Это России готовились напрочь
выжечь в глазах синеву
и оципать во всемирную парку
с райским пером Гамаюн.
Знать, для того и бежали под арку,
мяли лаптями чугуны.
Страшно за звёзды: от вспышки до вспышки
только о том и радел,
как бы не отняли их, что излишки
у костенеющих тел.

VI

Если впрямь ничего не останется,
разве волны да лапчатый лист,
но один через пустошь потянется
на слепой огонек акмеист
— как начнет просыпаться брусчатая
с платяным недоходным нутром,
от болотного гнуса зачатая
второпях миродерждем Петром
молодая столица империи,
— так останется только ползти
к алтарю в золотом оперении,
захрипев новобрачной «прости».

VII

...Где шпиль, подавшийся
под ангелом последним,
и сад, оставшийся
неисправимо Летним,
хоть крепко заперты
в дощатые халупы
богини, паперти
похожи на уступы,
ветрам, нас выжившим,
приснимся, как казнившим:
ты — не расслышавшей,
а я — не повторившим.

Декабрь 1983



В достоевском Павловске когда-то,
с окунем карась,
на скамье шептались воровато
злой купец и князь.
И нездешние, казалось, силы
здешних мест
узкотелы и ширококрылы
прятались окрест.
Не стемнев как следует, светало.
Рысаков и кляч
не видать на трассе от воксала
до шале и дач.
Скоро, скоро огласит вожатый
трелями перрон,
приглашая тряский небогатый
занимать вагон.
И еще милее неживая
станет, чем досель.
Запеклась под грудью ножевая
маленькая щель.

Вихорь времени едва шевелит
мой вихор.
Сердце жметя и еще не верит
до сих пор,
что вполне внезапная разлука
с тем со всем
дорогим, не самым высшим кругом
насовсем.
И шепчу, прикрыв ладонью книгу
теплую сейчас:
Отче — Федору архистратигу
— помолись за нас.
Что-то есть в припадочной России,
если не святой,
сродное твоей эпилепсии,
дух одной шестой.

Там пространство белыми ночами
зелено в тени,
словно оперенье за плечами.
Помяни!

1988



И. Бродскому

Систола — сжатие полунапрасное
гонит из красного красное в красное.
...Словно шинель на шелку,
льнет, простужая, имперское — к женскому
около Спаса, что к Преображенскому
так и приписан полку.

Мы ль предадим наши ночи болотные,
склепы гранитные, гульбища ротные,
 плацы, где сякнут ветра,
понову копоть вдыхая угарную,
мы ль не помянем сухую столярную
стружку владыки Петра?

Мы ль... Но забудь эту присказку мыльную.
Ты ль позабудешь про сторону тыльную
 дерева, где воронье?
Нам умирать на Васильевской линии!
— отогревая тряпицами в инее
 певчее зевое свое.

Ведь не тобою ли прямо обещаны
были асфальта сетчатые трещины,
 переведенные с карт?
Но воевавший за слово сипатое,
вновь подниму я лицо бородатое
 на посрамленный штандарт.

Белое — это полоски под кольцами,
это когда пацаны добровольцами,
 это когда никого
нет пред открытыми Богу божницами,
ибо все белые с белыми лицами
 за спину стали Его.

Синее — это когда пригнетаются
беженцы к берегу, бредят и маются
у византийских камней,
годных еще на могильник в Галлиполи,
синее — наше, а птицы мы, рыбы ли
это не важно, ей-ей.

Друг, я спрошу тебя самое главное:
ежели прежнее всё — неисправное,
что же нас ждет впереди?
Скажешь, мол, дело известное, ясное.
Красное — это из красного в красное
в стынувшей честно груди.

1986



Прародительница ива
на балтийских берегах
неухоженную гриву
в кристаллических снегах
укрошено клонит, знамо,
помнит обух топора
в грабке Нового Адама —
неумного Петра.

Наступавшие лавиной
полегли его рабы
с перебитой хребтовинной
исторической судьбы,
но покорно на колени
что-то нудит пасть порой
пред восставшею из тлена
рослой куклой восковой.

У горящего Ништадта
на нешуточной войне
оробевший без пригляда
государева вполне,
по-евангельски другую
щеку прямо на бегу
подставлявший, атакуя,
пораженному врагу

восхищенно новобранец
вдруг очухался в раю
и узнал, походный ранец
скинув, родину свою
— где, вкусив от Книги Вечной.
оставляет нас огонь
с сажей, пойманной беспечно
в обгавленную ладонь.

Обезвреженной машине
адской — сердце ли сродни?
Серый воздух, что мышинный
бархат, в пасмурные дни.
Над чащобой краснотала
в заclubившийся просвет
пробиваться солнце стало
или нет...

Ева-ива, Катерина,
Нарва в теле и Нева,
Чудотворца-исполина
многоликая вдова.
И поет в досыл удушью
ропот волн под брюхом льдин
славу русскому оружию
в тишине совсем один.

Февраль 1993

СОДЕРЖАНИЕ

Этюд	5
На казнь майора Глебова	6
В Петрограде (I—III)	8
Петербургская элегия	11
Потемкин, Зубов и Орлов (I—V)	12
Белой ночью	16
Первый снег в садах под Петроградом (I—V)	17
Дианы Севера	21
Восьмистишия	22
На отъезд друга (<i>шесть стихотворений</i>)	24
Элегия	28
«Целый день по стеклу барабанили капли...»	29
«Всё так странно в том мире, где ты...»	30
На море среди солнечных дюн	32
Воробьиная ночь (I—III)	33
Охота	36
Спроси, притворившись немою (I—III)	37
«Глазницы Козлова-слепца...»	39
В рассеянных поисках рая	40
Стихи о русских поэтах (1—8)	41
«Крупичи пигмента с сусальным вкраплением с фрески...»	47
Скажи, свидригайловский скворка унылый...	48
«В кренящейся башне ночные раденья...»	49
Восьмистишия в стиле <i>retro</i>	50
Этюд № 2	52
Там за островами... (1—3)	53
Поэт	56
«Необроненное золото...»	57
Посвящается родине (1—2)	58
Голос из хора	60
«Настигает в единственный...»	61
Перед Смольным (<i>литературная композиция</i>)	62
Стансы	65
Голубь	68

Черный день	69
Sarabande (I—III)	70
«Греясь в беснежное олово...»	73
Судьба стиха — миродержавная	74
«Наконец-то светла...»	75
Повторение (I—VII)	77
«В достоевском Павловске когда-то...»	80
«Систола — сжатие полунапрасное...»	82
«Прародительница ива...»	84

Кублановский Юрий Михайлович

ПАМЯТИ ПЕТРОГРАДА

«Пушкинский Фонд», Санкт-Петербург, 1994

Редактор Г.Ф.Коमारов

Корректор В.Г.Комарова

ЛР № 030448

от 10 ноября 1992 г.

Отпечатано в типографии ППП 1—7,
Павловск, Марата, 12.

Зак. 1683. Тир. 1000

